



Станислав РАССАДИН

По-своему, по-звериному правы и те и другие. Как было не напасть на него, с его популярностью, с его обаянием, неотразимым, возможно, и для самих хулителей, — как, спрашивается, если некий авангардист сказал, объясняя, зачем Владимир Сорокин обгадил в романе Ахматову и Пастернака: «Выхода нет. Очень тесен мир. Только за счет других»?..

Когда открывали музей Булата Окуджавы, я, выступая, сказал с переделкинских крылечек, что при известии о его смерти подумалось (и было услышано сразу от нескольких): закончилась эпоха. А днем позже нашей скромной церемонии, описывая ее, молодежная газета прокомментировала мои слова с нескрываемым и, во всяком случае, не скрытым удовлетворением: Рассадина признал, что пришел конец эпохе 60-х. Признался. Раскололся, сволочь такая.

Положим, я-то добавил тогда: эпохи уходят, чтобы остаться. Но допустим: эта — ушла навсегда. И что?

Нет смысла цитировать то, о чем я же писал в «Новой газете», — как подзабытый

Галковский, возводившийся в ранг полугениев, в тоске и злобе торопил уход Окуджавы. (Дождлся. Легче ль ему?) Как другой доброжелатель, уже напрочь забытый, похабно ерничал насчет песка, якобы сыплющегося из немолодого поэта (а Жванецкий парировал: да, мол, сыплется, но какой песок!). Но чего не хочу забывать, так это рассуждения саратовца Боровикова, опубликованного в «Новом мире» и выдержанного — нет, вовсе не в хамском, а в снисходительном тоне. Даже сoproвожденного реверансами.

«Не надо обижать шестидесятников». (Ай, спасибо!) «Шестидесятники требуют к себе исторического отношения, без галковщины. Новым дегустаторам «текстов» невоз-

обостренному чувству человечности (которое раздражает не утилитарностью), к лиризму (расслабляет), к некрикливости гражданской ответственности (ну это просто смешно!). И объяснять ли Боровикову, как смеялись бы нынешние издатели, даже не столь отягощенные, как наш молодой заказчик, если бы им «предложили для печати» не то что: «Лягол времен! металла звон!», но и, допустим, мое любимое: «Много земель я оставил за мною; / Вынес я много смятенной душой / Радостей ложных, истинных зол; / Много мятежных решил я вопросов / Прежде, чем руки марсельских матросов / Подняли якорь, надежды символ!»

Впрочем, стоп. А может, их гипотетическая смешиливость и то, что сегодня «всере- рез никто бы не принял» ни гениального Державина, ни гениального Баратынского, так-сяк оправданы? Может, в самом деле та или иная степень архаики как привязанности к своему времени и должна обеспечить даже чудо поэзии?

историк литературы, заставившее Гертена стать вечным скитальцем...

А Окуджаву? Начавший писать свои песни на рубеже 50—60-х, был ли он человеком шестидесятых годов? Шестидесятником?

Как злосчастный автор статьи «Шестидесятники», напечатанной аккурат накануне начала 60-х, не устаю повторять: термин, которому я нечаянно дал ход, не покоренческий. Шестидесятничество — псевдоним времени, его общих надежд и прозрений, в чем были равны и старик Паустовский (но не «старуха» Ахматова!), и фронтовик Окуджаву, и дитя ГУЛАГа Аксенов. И все же существует большая или меньшая степень причастности к этому типу самосознания.

Как ни странно, для этого надо было родиться раньше, чем, скажем, Владимов или Искандер, казалось бы, «чистые» шестидесятники, исходя из их возраста; надо было успеть — в 30-х, в 40-х — укорениться в мечте о торжестве коммунизма, чтобы в 50-х

ни. Словом, при всей уникальности, без чего поэт — не поэт, Окуджаву действительно выразитель эпохи, ее на редкость чуткий радар; он уникален, но неотрывен — от нас, от нас. И та враждебность, с какой его первые песни были встречены официозом — от партократа Ильичева до композитора Соловьева-Седого, услышавшего в них «белогвардейские мелодии», — враждебность, казалось бы, необъяснимая (ну что крамольного в «Полночном троллейбусе» или в «Часовых любви?»), объяснялась не столько помянутой уникальностью, сколько именно неотрывностью. Власть — политическая и эстетическая — почувала в голосе Окуджавы нечто сулящее ей опасные сдвиги общественного сознания.

Когда в 1961-м я принес в журнал «Юность», в котором служил, подборку песен-стихов Окуджавы, редактор Борис Полевой зарубил песенку об Арбате. За слово «религия» хотя, думаю, мог бы придираться и к слову «улица», уж совсем безобидному.

Почему? Бывает, так сказать, естественная редакция. Вот Лермонтов (воспоминания Екатерины Сушковой) слушает, как лицейский приятель Пушкина Яковлев поет романс на слова «Я вас любил: любовь еще, быть может...», и — комментирует. Не может не комментировать.

«...Но пусть она вас больше не тревожит...» — по Яковлеву. Нет, говорит Лермонтов собеседнице, пускай «тревожит!» «Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай вам Бог любимой быть другим», — но такое тем паче не по нраву поэту, которого горяча назвали наследником Пушкина, а он, опередив В. И. Ленина, кажется, мог бы спросить себя самого: от какого наследства я отказываюсь? Да вот от этого самого! «Это совсем надо переменить; естественно ли желать счастья любимой женщине, да еще с другим? Нет, пусть она будет несчастлива...»

И ведь «переменил»: «Ты не должна любить другого, / Нет, не должна, / Ты мертвецу святыней слова / Обручена...»

А в нашем случае? У Смелякова, поэта, чтимого Окуджавой, есть стихотворение «Хорошая девочка Лида» — о любви мальчика к девочке; подчеркиваю, ибо метафоры таковы, словно речь о любви Народа — к Вождю, к Сталину (что, кстати, было по-своему дерзко, хотя советская власть, трижды сажавшая Смелякова, это пропустила). «На всех перекрестках планеты / напишет он имя ее. / На полюсе Южном — огнями, / пшеницей — в кубанских степях...» Наконец: «Окажется улица тесной / для этой огромной любви». А у Окуджавы улица Арбат не тесна для того, чтобы стать призыванием, религией, отечеством.

Случайность полемики (если говорить о конкретных стихах)? Конечно. Но не случайно само восстание против Большого Стиля, эстетического оформления официальной идеологии. Восстание, которое неминуемо должно было произойти, уже происходило, но особенно внятно проявилось не в чьем-либо трубном голосе — в негромкой гитаре Окуджавы.

Я сказал: он уникален, но неотрывен. Пора перевернуть формулу: неотрывен, но уникален.



ВРЕМЯ ОКУДЖАВЫ?



можно представить, как звучало в те годы само имя Евтушенко или как трогал и объединял голос Окуджавы.

То есть — призыв к историзму, но как дело дойдет до конкретики... Хорошо, призовем юмор, в свою очередь снисходительный, читая: «Шестидесятников всегда подводил вкус. Они не умели вкушать, они хотели есть». (Сознаюсь: и весма.) «Их веселила инструкция на бутылке болгарского вина: напиток не следует напиваться, им следует наслаждаться...» Тут скажу: правильно веселила. Мы-то знали, что скверной «Плиской» еще можно упиться, а насладиться — трудно. Но дальше: «Военные юность или детство двигали ими по жизни. Они не могли забыть голода и борьбы за выживание». Вот этому — как возразить? Не могли. Не можем. Не сможем.

Но если небрежное высокомерие того, кому этого не приходится ни помнить, ни забывать, и само по себе достаточно противно, хуже, полагаю, другое: «Если бы сейчас молодой поэт предложил для печати строки: «Женщина, Ваш величество» или «надежды маленький оркестрик под управлением любви», его бы всерьез никто не принял».

Выражаясь не столь толерантно, «такое сегодня не какает», как сообщил журналисту Анатолию Макарову юный коллега из «престижного» (понимай: богатого платящего) издания, заказывая статью, но безглаголиво предупреждая, чтоб было «без этого вашего Окуджавы». Воспринимая «Окуджаву» как алгебраический знак тяги к

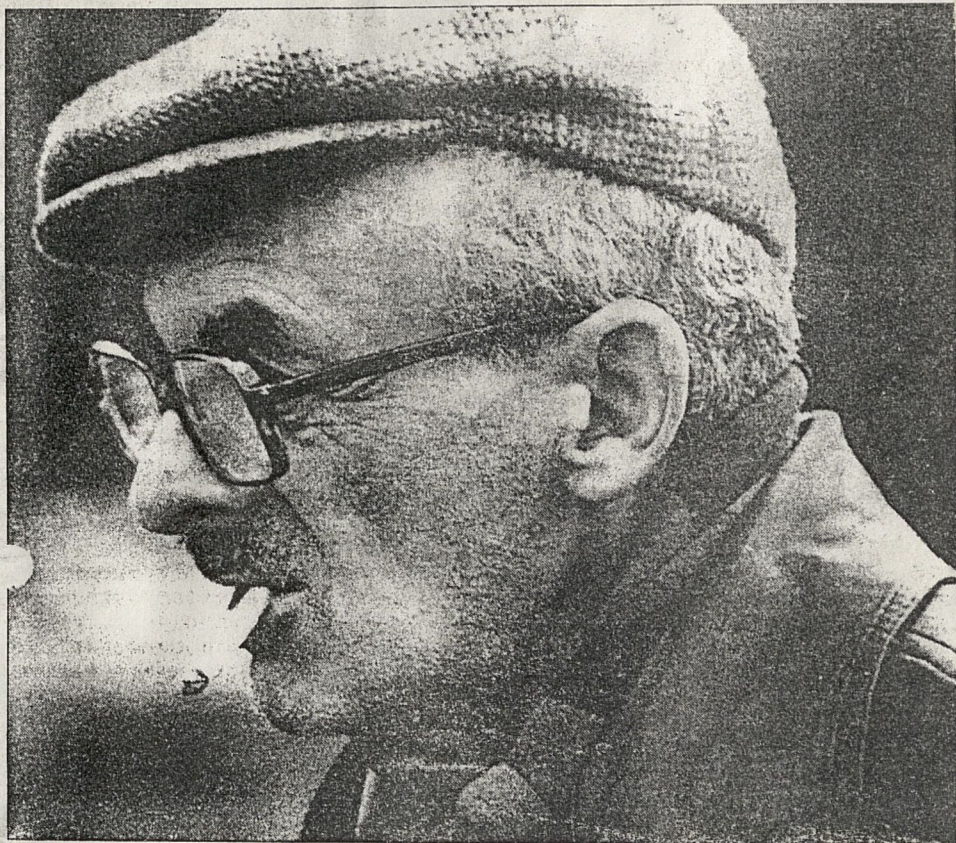
Думаю все же, что такая реакция — дикость, но что правда, то правда: Державин и Баратынский — неповторимы. Тем и прекрасны. Как неповторимо прекрасны строчки Окуджавы, спихнутые в архив. Даже сметенные в мусор.

Короче: сама попытка историзма, предпринятая Боровиковым, до вульгарности неисторична. И впрямь: эпохи в искусстве уходят, чтобы остаться. А мнение, будто искусство прет неуклонно вперед и выше, так что, стало быть, все новое и есть лучшее, — это, простите, пошлость.

Булат Окуджаву уложился в свою эпоху. В каком смысле?

Да хотя бы и в том — вновь позволю для ясности великие аналогии, — что Пушкин стал Пушкиным, действительно «нашим всем» (обтрепавшись, это слово Аполлона Григорьева не утратило смысла), отчасти и потому, что успел сформироваться в промежуток между 1812 и 1825 годами. Когда, по выражению Гертена, в обществе распространились «чувства чести и личного достоинства», неведомые до тех пор русской аристократии, и пока эти чувства не были унижены Николаем I, покончившим с дворянскими упованиями. Но как символична и дата рождения самого Гертена — именно 1812-й; почти так же, как его незаконнорожденность. Другое время, другое самосознание, само чувство чести и то другое, «обиженное и возмущенное», как сказал давний

Окуджаву Булатов 16.1.02.



Не стоит опять-таки обстоятельно повторяться, напоминая, как в 60-х поэзия ринулась на эстраду, была допущена даже на стадион; как это отрадное явление заполучило и обратную сторону, приучая читателя больше ценить выкрик, чем оттенки слова. Как и сами поэты теряли свое первородство, претали самоощущение артистов, неизбежно зависящих от аплодисментов.

Окуджаве с его гитарой, которой на эстраде самое место, подобное словно должно было подходить изначально. Но возможно ли представить

его сказавшим: «Я не поэт, а артист!» (о том, кто сказал, — чуть позже)? Наоборот, был период, когда он взбунтовался против своей репутации выступающего поэта, объясняя: «Я пишу прозу!» (И я, смешно вспомнить, объяснялся с ним на сей счет, доказывая, что он зря унижает собственную песенную поэзию.) «Самостоянье человека», повторяя за Пушкиным; сугубая индивидуальность личности, не сдвигающейся с массой, острогой тесной принадлежности даже к более узкому кругу (так, перестал исполнять песню «Возьмемся за руки, друзья», едва КСП ее обобществил-обезличил, сделав своим гимном), — вот чем пуще всего дорожил Булат Окуджава.

Чаплин, вернее, чаплинский Чарли — такую ассоциацию-аналогию находили для его «лирического героя». Возможно. Но — Чарли, наделенный острой интеллигентской рефлексией. Пронзительной самоиронией, по части которой Окуджава — рекордсмен. Чемпион.

Юрий Тынянов писал о Блоке, что читатель в нем полюбил не столько искусство, сколько человеческое лицо. Так была угадана тенденция: Маяковский, объясняющийся в любви не Прекрасной Даме, а паспортно поименованной Л.Ю. Брик; «хулиган» Есенин; Цветаева, откровенная до предела и сверх предела. И т. д., и т. п. Тенденция, видимо, неостановимая — и на здоровье, лишь бы «лицо» не вытесняло «искусство», не подменяло его (а вытесняет и подменяет — разумеется, не у вышеназванных). Имидж не становился бы самоцелью (а становится, стал).

«Я не поэт, я артист!» — цитированное заявление сделал и должен был сделать Дмитрий Пригов, чем обосновал свое актерское право, тут же осуществленное; к примеру, блять козлом на эстраде, заменив блеянием внятное произнесение внятных «текстов». И тем самым довел до возможного края не только победу имиджа над искусством, но и тот самый сдвиг от поэзии к актерству, который сделали было, да недоделали поэты-эстрадники 60-х.

Честное слово, сейчас не занимаюсь полемикой, всего лишь хладнокровно констатируя именно тенденцию (и даже готов похвастаться аналогией, сопоставив с ней путь, который проделала живопись от Рафаэля с Рембрандтом к «Черному квадрату» Малевича). Просто в пору, когда тенденция обобществления, обезличивания торжествует или думает, что восторжествовала, когда стихами объявляется то, что может написать каждый, кто угодно, все (понятно ли, что и тут не бранюсь, лишь пересказывая концептуальную установку хоть того же Пригова?), — в эту пору Булат Окуджава не мог не быть атакован как опасный анахронизм. Опасный не менее, чем он был для былого официоза, почуявшего в нем, напротив, предвестие. Начало.

«Время Окуджавы» — назвал я статью, сопроводив заглавие знаком вопроса. От неуверенности? Да нет. Время того или иного художника, бывает, на время проходит, и (продолжаю взывать к великим теням) даже Тютчев и Баратынский оказываются в разряде «забытых поэтов». «Не канают», изыскавшись памятным слогом. Потом из забвения возвращаются. И все-таки можем ли мы сказать, что и в эти, худшие для них годы, будучи потерянными для толпы, они уходили из истинной памяти, не переставшей помнить? («...Жив будет хоть один пиит».) То есть их время не прерывается ни на минуту; это время тех, кто перестает дорожить чудом искусства, оборачивается безвременьем. Глухотой. Слепотой.

Слава Богу, время Булата Окуджавы не прервано; более того, его имя и слово — как пароль людей, противостоящих напору торгашества. Будем надеяться, что и не прервется, надеясь, беспокоясь не о нем — о себе самих.